

АРМЯНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
БОРИСА ЛАЗАРЕВСКОГО*

Среди русских литературных деятелей 10-х годов XX в., отразивших в своих произведениях армянскую действительность, достойное место занимает известный в свое время беллетрист Борис Лазаревский (1871–1936). Будучи сыном украинского историка, он получил образование на юридическом факультете Киевского университета, занимал посты в военном и морском ведомствах. После русско-японской войны посвятил себя литературе: «Ближайший преемник школы Чехова и Куприна»¹ в основном писал небольшие романы на любовные темы, считая себя специалистом – психологом «женской души».

Можно с уверенностью сказать: малоизвестного в армянской среде русского писателя многое связывало с Арменией и ее культурой, что нашло отражение и в его литературно-общественной деятельности. Так, известный армянский поэт В. Терьян в письме от 2 апреля 1915 г. из Петрограда, адресованном общественно-культурному деятелю К. Микаэлян, писал: «Мне сообщили, что мой адрес разыскивает Борис Лазаревский (знаешь его, конечно), думаю, с таким же делом (имеется в виду издание сборника «Поэзия Армении» – А. З.)»².

Ю. Веселовский в статье «Русская литература и армянская жизнь», написанной в 1916 г., говоря об отражении армянской действительности в новейшей русской литературе, упоминает и Б. Лазаревского, отмечая, что он «также показывает нам в одном из своих рассказов интересный женский образ, взятый из того же мира»³.

В августе 1919 г. в тифлисской газете «Кавказское слово» печатается рассказ Б. Лазаревского «На чужбине», а в апреле 1920 г. в газете «Слово» – «Брошечка». В этих рассказах его героини – армянская девушка и женщина.

* Представлена 26. XI. 2021 г., принята к печати 25. I. 2022 г.

¹ С. Г о р о д е ц к и й. Лирик прозы (портрет Бориса Лазаревского). – «Слово» (Тифлис), 05. IX. 1919.

² Վ. Տ Ե Ր Յ Ե Ն. Երկերի ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1979, էջ 200–201:

³ Ю. В е с е л о в с к и й. Русская литература и армянская жизнь. – «Армянский вестник» (М.), 1916, № 15, с. 2.

В 1919–1920 гг. Б. Лазаревский для армянства городов России – Ростова, Армавира, а также Тифлиса и Еревана выступил с лекциями «Девушки и женщины Армении», где обстоятельно представлены взгляды и оценка писателем армянской женщины, армянской действительности в целом. Лекции вызвали большой интерес в армянских общественных кругах. После одной из этих лекций в Тифлисе Лазаревский посетил великого армянского поэта Ов. Туманяна, о чем свидетельствует его запись в альбоме поэта⁴.

Б. Лазаревский, отправляясь в Париж через Константинополь, в 1920 г. в нескольких октябрьских номерах местной газеты «Чакатмарт» («Битва») публикует в переводе на западноармянский цикл очерков-исследований «Девушки и женщины Армении»⁵.

Ниже публикуем рассказы Б. Лазаревского «На чужбине» и «Брошечка».

АНУШАВАН ЗАКАРЯН

НА ЧУЖБИНЕ

С чувством жгучего одиночества ходил я по горячим улицам Тифлиса, пошатываясь точно пьяный, под палящими лучами солнца и думал: «Вот сейчас упаду и умру здесь, на чужбине. Затем или обращусь в ничто, или улечу в ту страну, где ни для кого нет никакой чужбины, где все знают друг друга без слов и где для всех родина ...».

Подлейший из всех инстинктов – инстинкт самосохранения – загнал меня в какое-то маленькое, уютное и относительно прохладное кафе. Хорошенькие кельнерши весело подавали. Старушка-кассира с ласковыми, спокойными глазами давала сдачу, курила тоненькие папироски и отмечала что-то на квадратном листке бумаги.

Входили англичане и молча садились за столики. Разговаривали тихо какие-то дельцы. Возле окна ели мороженое две жгучие брюнетки в белых платьях – одна постарше, а другая совсем молоденькая, должно быть, лет шестнадцати, с темными невеселыми глазами, в которых было написано, что, может быть, и она скоро очутится там, где для всех – общая родина.

У меня всегда была способность угадывать это ...

И вдруг я вспомнил почти такие же глаза, которые я видел двадцать лет назад, сначала в вагоне, а затем здесь, в этом самом городе.

⁴ См.: *Ա. Զ ա ք ա ղ յ ա ն. Բորիս Լազարևսկիին Հայաստանի և Հայ կանանց մասին, Երևան, 2004, էջ 10–13:*

⁵ См.: «Ճակատամարտ» (Կ. Պոլիս), 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. X. 1920, *Ա. Զ ա ք ա ղ յ ա ն. Իշխ. աշխ., էջ 58–84:*

Тогда я умел еще загораться от одного нежного колебания длинных ресниц.

Девушки ехали с отцом и матерью в купе 1-го класса, кажется, из-за границы. Мы познакомились, но разговаривали немного, хотя ехали вместе целые сутки. Я успел только узнать, что армянское имя девушки по-русски означает любовь, что она в прошлом году окончила гимназию и очень любит читать. Затем и без слов было видно, что это очень богатые люди.

Красота, богатство и молодость – три фактора, как выражаются г.г. марксисты, обеспечивающие личное счастье. А между тем первое чувство, которое проникло в мое сердце после знакомства с девушкой, – была грусть тихая, безнадежная и необъяснимая, какая остается во всем организме, когда выйдешь из церкви, прослушав спетую великолепным хором панихиду.

Самое имя девушки, Любовь, не говорило мне о радостях и наслаждениях и напоминало почему-то формулу Кнута Гамсуна: «Любовь – несокрушимая печать, что хранится всю жизнь, хранится до смерти, хранится и после смерти» ...

Однако, занимая свою попутчицу, я старался рассказывать ей все веселое и смешное и радовался, если она улыбалась.

Мы стояли у окна вагона и глядели на еще розовые, но уже потухающие вершины Эльбруса.

Когда совсем стемнело, поезд остановился возле какой-то большой станции, где я успел выпить стакан чаю и купил томик Чехова с его замечательным рассказом «Красавицы».

Снова поехали.

Мне захотелось подарить эту книгу барышне и сделать надпись, кому и от кого. Таким образом я узнал ее фамилию. Она поблагодарила меня одним движением ресниц. Затем мы разошлись по своим купе, чтобы спать.

Хотя я и лег и закрывал глаза, но забыться не мог. Влюбленность уже проникла в мой мозг и душу и тревожила. Сами собой выплывали слова Гамсуна и захватывала нервы радость не совсем обыкновенная: мне было весело от сознания, что я никогда больше не буду разговаривать с этой девушкой и никогда она не сделается моей шаблонной знакомой и не омрачится воспоминание о ней ничем обычным, – земным.

Впрочем на другой день я еще раз увидел мою спутницу на улице в Тифлисе, но она не заметила меня, я даже не успел снять фуражки; а вечером уехал дальше.

Все это было приблизительно лет двадцать назад.

Миновало много радостей и печалей.

Самые содержательные дни моей жизни протекали в Петербурге. Было много любви и ревности и даже восторгов, но никогда ничего похожего на то чувство, которое я пережил когда-то в вагоне.

Совсем случайно я узнал, что моя бывшая спутница также жила и была замужем в этом самом Петербурге, но уже умерла.

И насколько меня поразило то, что я мог ее видеть, но не увидел, – настолько же не поразило известие о ее кончине.

Я только подумал:

«Ведь не мог же в самом деле цветок гортензии красоваться и жить под небом, похожим на солдатское сукно...

Ведь не могли же зрочки, в которых отражались розовые вершины Эльбруса, долго глядеть на грязный лед Фонтанки ...

Ведь не могла же молодая душа, уже понимавшая проникновенного Чехова, понимать ту некрасивую насквозь материальную жизнь совсем чужого ей города».

Повторяю, я не удивился и даже не опечалился, как будто мне сказали, что она переехала только в другое место, где нет понятий, тесно связанных с понятиями о физической жизни на земном шаре, но остается способность мыслить и видеть, и потому ей там гораздо удобнее ...

Мало того, мне показалось, что в тот момент, когда я узнал о ее физической смерти, она вспомнила меня и нашу встречу в вагоне.

И сегодня, именно она, именно она нарочно послала в это кафе похожую лицом на нее, такую, какой я ее встретил, для того, чтобы в моей памяти снова прошел тот земной день моей молодости.

Когда я очнулся от набежавших мыслей и поглядел в сторону окна, где только что сидели две женщины, их уже не было.

Сам не знаю, почему я спросил кассиршу, кому принадлежит дом, в котором помещается кафе, и услышал в ответ фамилию той, которая носила имя – Любовь.

Это совпадение тоже не поразило меня, только не показалось совпадением, а чем-то другим – я не знаю, как назвать ...

На улице была такая же трудно выносимая жара, через десять шагов я опять начал покачиваться и снова думал, что вот, может быть, сейчас упаду и умру, но подлейший из инстинктов уже не мучил и не пугал меня...

11 августа 1919 г.,
Тифлис

БРОШЕЧКА

Сначала Иванов и Коваленко шли в хвосте страшного обоза, шли целых пять дней, стараясь не обращать внимания на валявшиеся по краям шоссе трупы, которые люди почему-то поленились сбросить в пропасть. Слушали плач женщин и детей, ругательства погонщиков и глядели на искаженные лица и мучения, никогда не виданные и не слышанные ни в Сибири, ни на Сахалине.

И уже не было жаль ни самих себя, ни идущих впереди ...

По утрам, перед восходом солнца, они глядели, как сама собой любовалась и кокетничала природа: горы и снежные вершины из нежно розовых делались голубоватыми, затем контуры яснили и строились в синие цепи, те самые, на которые смотрел когда-то все понимавший и предвидевший пророк Михаил Лермонтов ...

Настанет год...

И чем необузданнее кокетничала на рассвете природа, тем злее бывали утренние морозы.

Южанин Коваленко несколько раз плакал, кутаясь в рваную шинелишку, которую таскал с 1914 г. Иванов молча стучал зубами. Но всходило солнце и делалось легче ...

Они отстали от обоза не сразу: Коваленко стер ногу – решили свернуть в сторону, на извилистую тропу поискать деревню и отлежаться. Опять шли двое суток, но деревни не нашли и людей не видели, только случайно наткнулись на большой мешок с сухарями и полднюжиной банок с консервами, должно быть, кто-то украл несколько таких мешков и один обронил. Коваленко увидел сухари, перекрестился и сказал:

– Это будут наши разговеты ... Впрочем, кто его знает – какая неделя страстная или святая, и какой день? ... Может, сегодня Благовещение, может, и светлый праздник.

– А тебе не все равно? – мрачно спросил Иванов.

– Оно, конечно, пожалуй, что и все равно ... А все-таки, может, Господь ради праздника и еще какое-нибудь чудо пошлет.

– Забудь эти пустяки ...

Чтобы переменить разговор, Коваленко сказал:

– Давят меня эти горы, дышать трудно ... То ли дело у нас на Украине: на сорок верст кругом видно.

И вдруг запел болезненным тенором:

Ой у полі могила
З вітром говорила
Не вй вітре буйнесенькій
Шоб я черніла ...

– И эти пустяки забудь ... Когда подохнем, так и здесь будет могила – и не одна, а две ... Впрочем некому будет их рыть. Шакалы поужинают...

– Могила в этой песне совсем другая – это сторожевой курган в степи ...

Поели сухарей и консервов, запили ключевой водой и перестали ссориться. Заговорили по-хорошему и никак не могли определить, куда забрели – в Бакинскую губернию или в Елизаветпольскую. Но не было ужаса перед будущим. И погода потеплела ...

– Я нисколько не жалею, что мы отстали, – сказал Коваленко, – все равно никто бы не в силах был нам помочь, и мы никому ... Ты знаешь, перед раскрытой могилой у меня всегда есть хоть некоторая надежда на чудо, на будущую загробную жизнь, а перед толпой, все равно перед гражданской или военной, я всегда и наверное знаю, что: не жди ни сочувствия, ни понимания, ни даже простой рассудительности ... Вот мы только вдвоем, а я все еще надеюсь и жду, если и не спасения, то хоть какого-нибудь хорошего момента, а там с ними ни секундочки не жди.

– Опять завел философию ... А я не надеюсь ни на что, понимаешь, ни на что и ни на кого, потому что хочу хоть в последние дни своего существования не быть идиотом ...

«Врешь: и ты надеешься», – подумал Коваленко, но, не желая снова рассердить друга, перестал говорить о будущем. Стали вспоминать Петербург и студенческие годы. И опять больше говорил Коваленко ...

– Знаешь, если бы мне семь лет назад, когда я был на третьем курсе, кто-нибудь сказал, что я сделаюсь офицером, я бы тому человеку в глаза плюнул. Семь лет, а все равно как семьдесят ... была такая землячка Олеся Мирошниченко, жила на Васильевском острове, курсистка, я к ней зачастил. Комнатенка маленькая, убогая, самовар кривобокий и закуски к чаю на два рубля, а чувствовалось, как в раю. Из имущества только книги были, хорошие книги: Байрон, академическое издание, и Лермонтов, тоже академическое издание ... Словесница она была ... И все мы мечтали, когда поженимся, поехать на родину в Харьковщину, а затем путешествовать на Кавказе.

– Так вот ты же и путешествуешь по Кавказу, – перебил Иванов ...

– Да ... путешествую ... Одевалась Олеся очень скромно, но красавица была, и все к ней шло ... Была у нее брошечка тоже простенькая, вроде английской булавки, только золотая или вызолоченная и с красненьким камешком ...

– Вы хохлы сентиментальные люди ... поел и разболтался, а я поел и спать хочу ... Ты бы прошел к ручью, да промыл бы ногу ... Небось, болит? Ведь я уже две ночи не спал, по совести говоря, и всю минувшую ночь и глаз не сомкнул, тебя, дурака, стерег, думал, что заражение крови начинается.

– А болит и здорово ... Это ты правду говоришь, а то стемнеет, видно не будет.

– Иди, иди, да потом салом из консервов смажь, не век же мы будем сидеть в этом проклятом ущелье ...

Хромая и опираясь на палку, Коваленко побрел к ручью, а Иванов начал мостить под голову мешок, а под плечо похожий на тряпку китель.

Коваленко боялся потревожить посиневшую пятку и возился долго. Холодная струя показалась ему кипятком, всей голове стало жарко, потом от боли даже затошнило. Стучало в висках.

Вернувшись, он начал смазывать нарыв говяжьим салом, как посоветовал уже крепко спавший друг, а затем забинтовал остатками белья ... Сопел и вздыхал.

Когда поднял голову, то впереди, на тропинке, в полувечернем сумраке ему показалось, будто движется сгорбленная фигура, вроде старухи. Любопытство, смешанное с чем-то похожим на страх, заставило его снова поглядеть в ту сторону. Разбудить Иванова было жаль и стыдно. Старуха и на самом деле оказалась старухой с коричневым лицом и была такая худая и оборванная, что даже беженец удивился. Она подошла совсем близко, затрясла головой и хриплым голосом произнесла:

– Утелу бан ч'унэк?

Коваленко не понял, но догадался, полез в свою торбу, куда отложил штук пять сухарей, вынул их и подал. Старуха поклонилась, но не отошла и не села, а глядела и мигала запыленными веками. Она уже не казалась страшной. «И зачем такое создание живет на свете?», – подумал Коваленко. Старуха произнесла еще одно слово:

– Харкавор а.

Офицер снова не понял. «Разве дать ей еще консервов?». Он достал начатую банку, отковырял кусок английского красного вареного мяса и протянул. Старуха сейчас же его съела. Затем затопталась на месте, пошарила у себя за пазухой рукой, вынула из тряпья крохотный сверток в грязной бумажке, подала его офицеру и выговорила:

– Са на э инч вор к'эз харкавор а.

– Нет, консервов я не могу больше дать, – сказал Коваленко по-русски.

Старуха покачала головой, как будто улыбнулась и указала пальцем на сверток, который Коваленко держал в левой руке, не зная что с ним делать. Он сообразил, что надо развернуть, и когда снял два слоя почти истлевшей бумаги, то увидел золотую брошечку, простенькую, вроде английской булавки, только с красным камешком. В ушах у него загудело и набежала мысль, что все это или снится, или галлюцинация.

Хотелось что-то сказать, или спросить старуху, но она еще раз поклонилась, улыбнулась и довольно быстро пошла по тропинке вниз.

– Стой! – крикнул Коваленко. Старуха не обернулась. Догнать ее с больной ногой было нельзя. Разбудить Иванова он не посмел. Еще раз осмотрел Олесину брошку, поцеловал и положил перед собой на холст мешка ...

Над снежными вершинами горели крупные, точно золотые орехи, звезды; плакали где-то недалеко шакалы и сладко храпел Иванов, а Коваленко все глядел на золотую вещичку... взял отстегнул булавку и уколол ею свою руку. Боль почувствовалась совсем ясно.

Потом он положил брошечку в боковой карман, разостлал шинель и прилег.

Когда проснулся, было уже светло. Иванов сидел рядом и грыз сухарь. Коваленко полез в карман, достал брошечку с красным камешком и, ни слова не говоря, начал ее рассматривать. Иванов сделал глоток, покосился и произнес:

– Да и сентиментальный же народ вы, украинцы. Носит человек этакую штучку при себе, вероятно, уже не первый год, а только, в первый раз вынул ... Я бы при таких обстоятельствах, какие мы переживаем, давно бы ее продал, ведь золотая. Да и Олеся твоя, если бы и узнала, наверное, не обиделась бы ...

Коваленко густо покраснел и ничего не ответил.